

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Ответа не будет
(Повести и рассказы разных лет)

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0022
IV.....	.0031

Ответа не будет

— Так у нас будет Яблоновый сад? — спрашивала она, подводя левый глаз черным карандашом.

— Да... Весной яблони чудно цветут... — отвечал он, наблюдая, как она быстро и умело гримировалась.

— А внизу Волга?

— Усадьба стоит на самом обрыве... С балкона открывается вид верст на пятнадцать, а в весенний разлив Волга разливается верст на семь.

— Очень хорошо, то есть хорошо и обрыв, и разлив Волги, и цветущие яблони. А знаете, чего недостает в вашем саду?

Она повернула к нему свое раскрашенное лицо и посмотрела улыбающимися глазами. О, это было удивительное лицо, которое тянуло его к себе, как электромагнит. Чего стоили одни глаза, серые, с поволокой, маленький рот, при каждой улыбке открывавший два ряда белых, как слоновая кость, зубов, розовые, маленькие уши, лукавые ямочки на подбородке, небольшой, но красиво вылепленный

лоб, даже родинка на левой щеке, — все было хорошо и точно картина было вставлено в живую раму мягких, слегка вьющихся, с золотистым отливом белокурых волос.

— Да, недостает в вашем саду *fleure d'orange*, — проговорила она, медленно роняя слова.

Он не понял, что она хотела сказать, и совершенно серьезно ответил:

— *Fleure d'orange* — это цветы померанцевого дерева, проще сказать, апельсинового...

— Да-а? Вот удивительно!.. Значит, из каждого бутона подвенечных цветов выросло бы по апельсину, и только?

— И только...

— Ах, зачем вы это мне сказали?.. А я думала, что *fleure d'orange* — совсем особенное растение, вроде лилии и что оно специально растет, как эмблема юности и невинности. Ведь это жалкая проза: апельсин.

Он продолжал не понимать и смущенно улыбался. Она хлопнула его лежавшим на столе веером и проговорила серьезным тоном:

— Ну-с, что же мы стали бы делать в ва-

шем саду?

— Каждый день гуляли бы...

— А в усадьбе?

— А в усадьбе стали бы жить...

Она засмеялась, запрокинув голову. Он видел ее точеную круглую шею, тяжело подымавшуюся грудь и вздрагивавшие от смеха покатые плечи.

— Гулять в саду... жить... — повторяла она, вытирая набежавшие от смеха на глаза слезы. — Вот вы мне испортили весь грим. Ах, милое дитя!.. Сколько вам лет?

— Будет двадцать три...

— Прекрасные года, и могу только позавидовать вам. А как вы думаете, сколько мне лет? Впрочем, лучше не угадывайте, да я и сама начинаю забывать собственную хронологию...

Разговор происходил в артистической уборной одного из веселых летних уголков Петербурга, на дверях которой была прилеплена бумажка с надписью: Марья Ивановна Гуляева. Внутренность этой уборной поражала своим убожеством. Стены были устроены кое-как из барочного леса с круглыми дыра-

ми от деревянных гвоздей; эти дыры служили источником вечного сквозняка, несмотря на затычки из ваты, тряпок и бумаги. Обстановка состояла из просиженного диванчика, двух стульев, туалетного столика и умывальника. В углу на вешалке в артистическом беспорядке размещены были разные театральные костюмы. Застоявшийся воздух был пропитан запахом одеколона, пудры, дешевых крепких духов. Единственное окно, выходившее в сад, было целомудренно завешено пожелтевшей от времени кисеей, — во время спектакля, когда Марья Ивановна переодевалась, его было неудобно отворять, а в остальное время дня и ночи не нужно. Но и такая уборная составляла известного рода роскошь, доступную только «первым номерам» летней садовой труппы. Марья Ивановна находилась уже в предельном возрасте садовых этуалей и вела отчаянную борьбу с наступавшей, неумолимой, как смертный грех, артистической старостью. Ее дни были сочтены, но она держалась на летних сценах прочно благодаря громкому имени. В каждой профессии есть свои громкие имена.

Стоявший пред ней молодой человек был ни красив, ни дурен, а только молод, молод нетронутой молодостью. Окладистая русая борода придавала ему солидный вид не по годам, а серьезные карие глаза смотрели как-то необыкновенно просто и доверчиво. По изящному летнему костюму можно было без ошибки определить, что он принадлежал к людям «из общества». Марья Ивановна отлично изучила свою садовую «зоологию» и видела каждого насквозь с первых минут знакомства. Молодой человек ей нравился именно своей порядочностью, и она позволяла ему бывать у себя в уборной. Но сегодня он ее удивил, так что даже Марья Ивановна растерялась, стараясь придать всему шутливый тон.

— Не забудьте, что я говорил все совершенно серьезно, — проговорил он немного глуховатым тоном: у него от волнения пересохло во рту.

— Да? Ах, да... Пожалуйста, не мешайте мне своими шутками! Сейчас мой номер... Что вам спеть?

— Все равно, что хотите.

— Хорошо. Я знаю, что вы любите больше

всего.

Она хотела еще что-то сказать, но послышался осторожный стук в дверь — это было приглашение режиссера. Она быстро поднялась, подхватила длинный трен и, шелестя шелковыми юбками, как очковая змея своей сухой кожей, торопливо вышла из уборной. Идя по грязному коридору, едва освещенному жалкими керосиновыми лампочками, она улыбалась и повторяла про себя:

— Ах, какой смешной, какой глупый!.. Милый!..

Дверь в уборную оставалась открытой, и он слышал, как раздался неистовый вопль тысячи голосов, аплодисменты и тот особенный шум человеческой толпы, который так напоминает морской прибой. Это она показала на сцене, и толпа ревела, как хищный голодный зверь, которому бросили кусок сырого мяса. Потом все стихло. Потом слышались первые слова романса, который он так любил:

Не зажигай огня...

Он замер от волнения, впивая в себя каж-

дую ноту. Да, это она пела для него и делала признания чужими словами...

Звуки замолкли. Легкая пауза. И опять целая буря, как тысячеголосое эхо на призыв и ласку. Он поднялся и начал ходить по уборной быстрыми шагами. У него в душе тоже была буря, но молчаливая, как собирающаяся гроза. О, как он ненавидел сейчас все: и эту неистово ревущую толпу и всю кабацкую обстановку, даже самый воздух, пропитанный специфическими миазмами бесшабашного разгула! Это было настоящее гнилое болото, точившее из себя ядовитые испарения, а она — та водяная лилия, чистая и благоухающая, невинную белизну которой не могли убить все болотные яды, взятые вместе. Кабацкий ад и первый окрыляющий лепет любви...

Публика продолжала неистовствовать, заставляя петь все новые номера. Марья Ивановна пела из «Гейши», модные цыганские романсы и т. д. В уборную она вернулась усталой, с красными пятнами на лице, с помутившимися глазами. В руках у нее было несколько визитных карточек, которые она небреж-

но швырнула на туалетный столик. На его немой вопрос она устало проговорила:

— Ах, это все приглашения на ужин в отдельном кабинете... Мои милые поклонники, кажется, думают, что у меня, как у верблюда, шесть желудков... И все наши провинциалы, и все семейные люди, и все старички. Дома-то стыдно с певицами по отдельным кабинетам ужинать, а здесь их никто не знает, — ну, и пользуются случаем покутить.

Поймав ревнивое выражение в его глазах, она с улыбкой прибавила:

— Не бойтесь, у вас соперников нет. Я хочу сегодня быть только сама собой, что составляет для меня недоступную роскошь. Всего один вечер быть самой собой...

Потом она положила ему свои белые полные руки на плечи и, пытливо глядя в глаза, прошептала вполголоса:

— И ведь не каждый вечер предлагают руку и сердце... Не правда ли?

Он опустил глаза, и она поняла, что сказала бестактность.

По окончании спектакля они отправились в дальний уголок сада, где в низеньком каменном здании были устроены отдельные кабинеты. Она шла с ним под руку и осторожно оглядывалась кругом, точно боялась встретить кого-нибудь из знакомых. Он это чувствовал и тоже оглядывал толпу. Без встречи, однако, не обошлось. Попались два актера: один толстый, с красным лицом, другой — красивый брюнет с наглыми темными глазами. Они переглянулись, и толстяк что-то шепнул по адресу Марьи Ивановны. Брюнет улыбнулся одними глазами и презрительно повел плечом.

«Негодяи!..» — думала Марья Ивановна, ускоряя шаги.

Отдельный кабинет походил, как все кабинеты, на кабацкое логовище. Захватанная, грязная мебель, исцарапанное брильянтами зеркало, заношенный ковер на полу и т. д. В дверях кабинета Марью Ивановну догнал капельдинер и хотел тайно сунуть ей в руку еще две визитные карточки, но она брезгливо

отстранила его.

— Довольно, довольно! Скажи, что я умерла... да, умерла.

Когда дверь затворилась, она упала в кресло и проговорила упавшим голосом:

— Ах, как я устала, если бы вы знали!.. Кстати, ведь я забыла, как вас зовут... простите...

— Павел Константинович Ружищев.

— Да, да. Еще раз простите. У меня такая плохая память, а потом...

Она хотела сказать: «...У меня столько знакомых, и каждый день все новые», — но вовремя удержалась. Он рассматривал меню кушаний, не зная, что предложить.

— Павел Константинович, я хочу сегодня выбрать что-нибудь самое дешевое: борщок, сосиски с капустой, печенку в сметане.

— А я хотел вам заказать паровую стерлядь.

— Ах, нет... Мне до смерти надоели все эти деликатесы. Я хочу чего-нибудь самого-самого простого.

— А какое вино?

— Не нужно вина... Спросите бутылку са-

мого дешевого пива. Поужинаем по-студенчески. Сейчас я закажу вареной колбасы с чесноком. Знаете, ломтиками с переплетом из кожицы?.. Потом кусок дешевого русского сыра, который крошится под ножом. Прелесть!..

Он засмеялся, довольный ее фантазией. Получивший заказ официант презрительно посмотрел на Ружищева, — разве гости так угощают Марью Ивановну? Помилуйте, первый номер, и вдруг бутылка пива!

— Отлично, отлично, — повторяла она, рассматривая суженными глазами Ружищева.

Она сбросила летнюю накидку и несколько раз подходила к окну и прислушивалась к смутному гулу садовой толпы.

«Следовало уехать куда-нибудь в дешевенький ресторанчик, — соображала она. — Есть такие... Там всегда пахнет пригорелым маслом, жареным луком, селедкой. Впрочем, теперь уже все закрыто, кроме самых дорогих ресторанов».

Ужин вышел совсем по-семейному. Марья Ивановна имела привычку выпивать на ночь рюмку водки, «для нервов», как она объясня-

ла. Сейчас она раскраснелась и казалась совсем миловидной. Впечатление портили только остатки грима около глаз. Ружищев все время любовался ею и с большим вниманием слушал бесконечную женскую болтовню.

— Я вам надоедаю? — несколько раз спрашивала она с какой-то виноватой улыбкой. — А мне так хочется рассказать вам все, все... то есть уж не совсем все, а то, что вам может быть интересно. Родилась я и выросла там, далеко, на юге. Семья была не богатая и не бедная, а так, концы с концами сводились. Детство прошло скучно и неинтересно... А вот когда я перешла в четвертый класс гимназии... Мне тогда было ровно четырнадцать лет, но я казалась гораздо старше, а коротенькое платье-форма делало меня даже пикантной. О, я рано узнала себе цену... Может быть, в этом и заключалось все несчастье последующей жизни. Вы, мужчины, не понимаете, как радостно просыпается в девочке-подростке женщина... Что вы торчите в кресле, Константин Павлыч?

— Павел Константинович.

— Виновата... Садитесь вот сюда, на диван, рядом. Чокнемтесь! Да, было очень хорошо... Как сейчас, вижу себя таким подростком. У меня был великолепный рост, большая коса, чудный цвет лица, красивые, ласковые глаза... Я могу теперь говорить так о себе, потому что это было давно, и я говорю о себе, как о постороннем человеке, как говорила бы о тех девочках, которых встречаю сейчас на улице и которыми искренне восхищаюсь. Да садитесь вы ближе! Ах, какой вы... странный! Или лучше я сама подвинусь к вам... Вот так!..

Она почти касалась плечом его плеча. Он чувствовал теплоту ее тела, запах пудры... Голова слегка кружилась, и глаза застилало туманом, как в горячее летнее утро, когда земля курится невидимым ароматом. Было и жутко и хорошо, и хотелось сказать так много, сказать теми удивительными словами, которые так же трудно поймать, как собственную тень. А она болтала, прихлебывая из своего стакана пиво и обсыпая крошками сыра свое платье.

— Вы обращали внимание, Констан... то есть Павел Константинович, на выражение

человеческих глаз? Боже, как хорошо смотрят маленькие дети, совсем маленькие!.. У мальчиков чистота взгляда утрачивается быстро, а у девочек сохраняется лет до шестнадцати... Да, именно, чистота... Хочется смотреть в такие глаза, как на тихую воду, не возмущенную еще ветром. Такими глазами смотрит вся душа, пока она чиста и нетронута... Да, так я была в четвертом классе, потом перешла в пятый. Мне было уже неудобно ходить в коротеньком форменном платьице...

Она вздохнула и откинула голову на спинку дивана, полузакрыв глаза. Он взял ее руку и тихо ее гладил. Она не отнимала руки и не открывала глаз. Это было сладкое полузабытье, и Марья Ивановна продолжала видеть себя девочкой-подростком.

— Да, это было чудное время, — прошептала она, точно просыпаясь. — А потом...

— Я знаю, что было потом, — перебил он. — То есть догадываюсь.

Ее охватила страстная жажда рассказать ему все, все, рассказать всю свою жизнь. Ведь он такой хороший, такой весь чистый и должен знать, какую женщину хочет привести в

свою родовую усадьбу, в свой любимый Яблонный сад. Конечно, он отвернется от нее, будет презирать, но это все-таки лучше подлого обмана... О, она так много лгала, целую жизнь лгала, каждое ее слово было ложь. Когда он давеча сделал ей предложение, она сочла это за одну из тех шуток, какие пускаются в оборот для сближения с такими женщинами, как она. В ее репертуаре было несколько таких случаев. Но сейчас она чувствовала, чувствовала как-то всем своим существом, что он говорил с ней совершенно серьезно, как чувствовала его удивительный взгляд, — он смотрел на нее тоже всем своим существом, смотрел каждой каплей своей неиспорченной, чистой крови.

Они молчали несколько минут, но это молчание было красноречивее всякого разговора. Он понял, о чем она думала, и предупредил ее.

— Да, я знаю, — заговорил он, с трудом подбирая слова, — знаю, что у вас было прошлое... Да... Но это меня не касается, я этого не желаю знать. Есть чувства, которые покрывают все, как огонь очищает металл от

ржавчины. Я отлично сознаю, что делаю и на что иду... Только одно условие: ради бога, никогда и ни одного слова об этом прошлом! Мне было бы обидно, больно и ужасно слышать о нем, да еще от вас.

Она молчала, чувствуя, как ей начинает не хватать воздуха и как перед глазами начинают ходить разноцветные круги.

— Да, никогда, никогда! — повторил он, крепко сжимая ее руку. — Человек — не в своих ошибках, а в своей душе, в своем сердце...

Он говорил еще что-то, серьезно и просто, как брат с сестрой. А из сада доносился шум гулявшей толпы, звуки садовой музыки... Марье Ивановне казалось, что ее зовут туда, где бурлит эта тысячная толпа, и ей хотелось спрятаться, уйти куда-то далеко, оставив здесь навсегда ту Марию Ивановну, которую знала садовая публика и к которой относилась как к своей собственности. Так думают безнадежные больные, которые мечтают уехать как можно дальше от собственной болезни.

— Вы хороший и добрый, — говорила она материнским тоном. — Главное, добрый...

Добрых людей так мало на свете. Добрым нельзя сделаться, — это в крови... Вероятно, у вас и отец и мать очень добрые люди?

— Да, не злые...

Они просидели до глубокой ночи, болтая о разных посторонних вещах, получивших в их глазах сейчас какое-то особенное значение и важность. На прощание она его крепко поцеловала. Это был первый поцелуй, и она удивилась, что ее сердце бьется чаще обыкновенного.

Стояла безлунная, белая ночь. В саду оставались только запоздавшие гости. Из одного кабинета доносился шум пьяной драки. Измученные официанты торопливо сновали с пустой посудой и неоплаченными счетами. Воздух был напоен пьяным угаром.

Ружищев проводил Марью Ивановну до извозчика и усадил ее в экипаж.

— Я не люблю, когда меня провожают, — ласково предупредила она с загадочной улыбкой.

Да, стояли безлунные, белые петербургские ночи...

С Марьей Ивановной было плохо. Она испытывала такое ощущение, как будто ее что-нибудь придавило. Марья Ивановна плакала и злилась на себя.

— Ах, старая дура, старая дура!..

Она подходила к зеркалу, рассматривала с особенным вниманием начинавшее блекнуть лицо и горько улыбалась.

— Старая, совсем старая...

Когда-то Марья Ивановна так издевалась над старившимися женщинами, которые отчаянно молодились для сцены. А теперь наступала ее очередь. Время безжалостно. Она в немом отчаянии хваталась за голову, проклинала себя и опять плакала. О, никто, никто не должен ничего знать!.. В течение одного дня у нее составлялось по десяти разных решений. Конечно, она никогда не выйдет за Ружищева: это было бы просто смешно — мужу двадцать четыре года, а жене тридцать семь. Целая пропасть в тринадцать лет. Нет, она будет

его любить так, просто, без всяких обязательств, пока он будет ее любить... год, может быть, два. Быть лишней, быть нелюбимой — это еще ничего, а быть смешной — это уже выше всяких сил. С другой стороны, женятся же старики на совсем молоденьких девушках, бывают браки на взаимном уважении, бывают, наконец, мужчины, которые любят всего один раз в жизни и видят в жене человека, друга, лучшую часть самого себя. Еще дальше: ведь она может умереть в разгар своего счастья и он тоже. Наконец, она всегда может уйти, заметив перемену в его чувствах, и вернуть ему полную свободу.

Ее увлечение уже не составляло тайны для товарищей по сцене. Ее встречали двусмысленными улыбками, а толстый комик Бутусов пустил в оборот перифраз известной французской остроты:

— Наша Марья Ивановна, в добрый час будь сказано, хочет переменить свою сорокафранковую монету на две двадцатифранковых: одна наличными деньгами, а другая в кредит. Это называется конверсией внутреннего займа...

Добрые друзья, конечно, передавали Марье Ивановне все эти сплетни, пересуды и плоды дешевого остроумия. Она злилась и отвечала одно:

— Они ничего не понимают, поэтому и злятся.

В интернациональном хоре была одна белокурая девушка, которую звали Таней. Она недавно поступила на сцену, и в ней еще не погасла девичья застенчивость. Марья Ивановна немного покровительствовала ей и часто приглашала к себе в уборную, чтобы приколоть живые цветы к ее корсажу или угостить конфетами. Эта Таня относилась к Марье Ивановне как к недосыгаемому идеалу. Она поджидала ее в коридоре перед выходом на сцену, как влюбленная, ловила каждый ее взгляд и провожала влюбленными глазами. Это немое обожание забавляло Марью Ивановну, и она по какому-то инстинкту жалела немного эксцентричную, милую девушку. Выслушав все закулисные сплетни, Таня подкраулила Марью Ивановну в коридоре и без приглашения вошла за ней в уборную.

— Тебе что-нибудь нужно, Таня? — спроси-

ла Марья Ивановна.

— Нет, то есть да...

Девушка сконфузилась, а потом проговорила:

— Все говорят, что вы влюблены.

— Ах, какие глупости, Таня! И хочется тебе повторять, что другие болтают!

— Нет, я знаю, Марья Ивановна, что вы влюблены.

— Ну, предположим, что это так. Что же из этого следует?

— Я хотела вас спросить: как это бывает?

Марья Ивановна невольно расхохоталась.

— Ах, дурочка, дурочка!.. Догадываюсь: ты тоже влюблена?

— Не знаю... За меня сватаются двое: старший капельдинер Иван Тимофеич и парикмахер Альфред.

— Которого же ты любишь?

— Мне оба нравятся одинаково.

— Ах, глупенькая, глупенькая!.. Если оба нравятся, значит, не любишь ни одного из них. Любят только одного... Твое время еще не пришло, Таня. Когда полюбят, то никого об этом не спрашивают.

Марья Ивановна обняла и расцеловала наивную девушку, у которой выступили слезы на глазах.

— Вас все любят, Марья Ивановна, за вами все ухаживают, — шептала Таня, прижимаясь своей белокурой головкой к плечу Марьи Ивановны. — Вы только не хотите мне сказать, а сами все знаете... Капельдинер Иван Тимофеич с горя пьет третью неделю, а парикмахер Альфред грозит застрелиться, и я не знаю, что мне делать...

Над этой сценой Марья Ивановна долго смеялась, но Ружищев находил ее совсем не смешной.

Они виделись каждый день. Ружищев каждый вечер проводил в саду, как на дежурстве. Он знал в лицо не только всех артистов, капельдинеров и официантов, но и садовых заведывающих, котов и хулиганов. И чем ближе он знакомился с этой клоакой, тем сильнее ее ненавидел. Это было нечто ужасное, безобразное и безнадежное... Он нестерпимо страдал, глядя, как на подмостках безобразно кривлялись артисты и артистки в угоду пьяной толпе. Особенно отличались артистки, стараясь

превзойти одна другую в цинизме. Марья Ивановна была не лучше других, когда распевала скабрёзные шансонетки и канканировала. Ружищева охватывал ужас, когда он смотрел на нее, нарумяненную, увешанную поддельными брильянтами, с нахальной улыбкой и циничными движениями. Каждый вечер за ужином он повторял ей одно и то же:

— Маня, уйдем отсюда... Это ужасно! Ты не можешь себе представить, как мне больно смотреть на тебя, когда ты кривляешься на этой проклятой сцене... Я тебя не узнаю. У тебя делается совсем другое лицо, другие движения, улыбка, голос.

— Милый, это от непривычки... Ведь наш цинизм именно для нас лично и не существует, как не существует смысла в площадной брани для тех, кто к ней привык. А уйти я не могу, потому что связана неустойкой.

— Я заплачу неустойку.

— А репутация? Какой антрепренер возьмет меня в труппу, если я нарушу здесь контракт? Наша артистическая репутация — наш капитал. Сегодня ты меня любишь, все хорошо, а кто знает, что будет с нами завтра!

— Ради бога, не говори так, Маня!..

Они были на «ты». Ружищев держал себя скромно, почти застенчиво и как-то избегал говорить о себе. Но в среде артистов не бывает тайн, и Марья Ивановна знала через других, что он единственный сын богатого приволжского помещика, кончил университет, служит при каком-то министерстве без жалованья и т. д. Около садовых артистов вертелся какой-то подозрительный господин в цилиндре и золотых очках. Он говорил на нескольких языках, знал, кажется, решительно всех на свете и являлся для артистов, а особенно для артисток, чем-то вроде комиссионера. По фамилии — Астмус. Говорили, что это очень темная личность и что он не брезгует ничем. Свести выгодное знакомство, напечатать хвалебный отзыв или инсинуацию где-нибудь в газете, пустить сплетню — все было делом его рук. Марья Ивановна была знакома с ним несколько лет, пользовалась его услугами и теперь боялась его, как огня. Ведь Астмус отлично знал все ее бурное прошлое и мог каким-нибудь анонимным письмом испортить ее все нараставшее счастье. Он это отлично

понимал и держался с ней с вызывающей фамильярностью.

— Эге, мы устраиваем роман, Марья Ивановна! — шутил Астмус, глядя на нее в упор своими бессовестными глазами. — Что же, не следует терять дорогого времени, милашка... На мою скромность можете вполне рассчитывать, потому что я живая могила всех женских тайн. Это мой принцип, Марья Ивановна... Впрочем, вы имели достаточно случаев, чтобы убедиться в моей корректности. Потом, знаете, Марья Ивановна, мы были бы совсем друзьями, если бы вы оказали мне маленькую услугу... Да. Вы ведь знаете эту хористочку, Таню... Она мне очень нравится и разыгрывает из себя недотрогу. Если бы я мог встретиться с ней у вас на квартире, конечно, случайно... Да... Я знаю, что она любит вас, и вы могли бы повлиять на нее, как женщина опытная и разумная...

Марья Ивановна вся вспыхнула и резко ответила:

— Извините, господин Астмус: я такими делами не занимаюсь.

— Боитесь конкуренции, милашка? Хе-хе!..

Благодарю, не ожидал...

После такого разговора ничего не оставалось, как бежать. Да, именно не уходить, а бежать...

IV

Ружищев пришел в неистовую радость, когда Марья Ивановна сообщила ему о своем решении оставить сцену.

— Я сегодня пою в последний раз, — объявила она, наблюдая его счастливыми глазами. — А завтра объявлю директору... Мне немного совестно, что я оставляю сцену в разгаре сезона. Ведь я все-таки являлась известной приманкой, публика привыкла ко мне... Мой уход может отразиться на делах всей группы.

— Милая, милая, ведь найдется же кто-нибудь другой, чтобы заменить тебя!

— Ты забываешь, что мне придется заплатить громадную неустойку, что-то около шести тысяч... У меня сбережено про черный день около двух тысяч...

— О деньгах не может быть речи.

— Выходит так, как будто ты выкупаешь будущую жену из плена.

— Именно... совершенно верно!.. Итак, в последний раз на сцене?

— В последний раз, милый... И в послед-

ний раз поужинаем в этом кабаке.

Они крепко расцеловались. Она начала гримироваться для своего номера, а он ушел в партер, чтобы в последний раз посмотреть на свой позор. Кабака больше не было, не было шантажистов, котов, хулиганов, кутивших напропалую провинциальных старцев, приехавших в Петербург по делам... Все это исчезло, как дурной сон. Ружищев даже не видел отдельных лиц, — все сливалось в одно бессмысленное, живое, движущееся пятно, как капля зараженной крови под микроскопом. Только бы вырваться отсюда на свежий воздух, увезти свое счастье на берег родной Волги...

Время точно остановилось, как текучая вода, встретившая на своем пути непреодолимую преграду. Марья Ивановна пела последней, и публика, точно предчувствуя разлуку, вызывала ее без конца. Ружищев торжествовал, повторяя про себя:

— Будет... довольно...

Его удивляла странная и непонятная для него фантазия Марьи Ивановны поужинать в последний раз в отдельном кабинете. Нужно

было бежать, очертя голову... Впрочем, есть, с одной стороны, женские фантазии, а с другой, может быть, это было прощание с прошлым, последняя дань дурной привычке.

Он ждал ее в «своем» кабинете, который ему сегодня не казался даже таким грязным и отвратительным, как раньше.

Она пришла позднее обыкновенного, счастливо встревоженная и радостная.

— Все кончено? — спросил Ружицев.

— Да...

— Видела своего директора?

— Мельком... я его предупредила. Не будем об этом говорить.

Она бросила на стол несколько визитных карточек и рассмеялась.

— Милые провинциальные старички не дают мне покоя, — коротко объяснила она, делая гримасу. — Вот кого я ненавижу от всей души... Развратничает не молодежь, а вот именно такие почтенные отцы семейств, добродетельные мужья и живые примеры тихого семейного счастья.

Она могла бы прибавить, что эти карточки были доставлены при благосклонном уча-

стии г-на Астмуса, служившего, между прочим, и поставщиком живого товара.

Ужин опять заказан был по-студенчески. Они сидели на диване, обнявшись, и предавались воспоминаниям. Марья Ивановна смотрела на Ружищева и повторяла:

— Боже мой, как все это недавно было... точно сон... Позволь, как мы познакомились? Я, право, не могу припомнить.

— Ну, знакомство не из интересных... Вот так же, в отдельном кабинете... Забыла?

— Позволь... с тобой были тогда какие-то два старичка, да? Один еще такой смешной, маленький и называл себя доктором Киндер-бальзамом... Он рассказывал, что вы познакомились только здесь, в саду...

— Нет, он тебя просто мистифицировал, Маня.

Ружищев засмеялся и прибавил:

— Это будет нашей маленькой тайной, Маня... Видишь ли, мой отец — очень добрый и хороший человек, но иногда любит поку-тить...

Она вырвалась из его объятий, вскочила и, вся бледная и дрожащая, проговорила задыха-

хавшимся голосом:

— Это... это был твой... отец?!

Он тоже поднялся, взял ее за руки и хотел усадить.

— Да, отец... Он очень хороший, хотя и не без маленьких недостатков.

— Отец! — в ужасе повторяла она, прислушиваясь к звуку собственного голоса. — Отец?!

Потом она вырвалась из его рук и бессильно упала в кресло.

— Маня, Маня, что с тобой? Такие пустяки...

Но она ничего не отвечала, а только закрыла лицо руками.

— Маня, ты его извинишь... Вообще пустяки.

Она только стонала, схватившись за голову.

— Со мной это иногда случается, — объясняла она, не отнимая рук. — Страшные головные боли... Ты не сердись... Я сейчас же должна уехать домой. Окончательный мой ответ получишь здесь... вечером. Нужно окончательно переговорить с директором...

— Я тебя провожу, Маня.

— Ах, ради бога, не нужно!.. — испугалась Марья Ивановна. — Меня проводит Таня.

Он все-таки проводил ее до уборной. Таня уже собиралась домой и была счастлива, что может ехать на одном извозчике с самой Марьей Ивановной. Ружищев усадил их в экипаж и остался на тротуаре. Он ничего не понимал. Марья Ивановна на прощание как-то особенно долго смотрела ему в глаза и крепко поцеловала.

Извозчик отъехал всего сажен пятьдесят, как Марья Ивановна горько зарыдала, не обращая никакого внимания на возвращавшуюся по тротуарам садовую публику.

— Марья Ивановна, милая, что с вами?! — испуганно бормотала Таня, обнимая обожаемую женщину. — Марья Ивановна...

Марья Ивановна посмотрела на нее дикими глазами и, не вытирая катившихся по лицу слез, проговорила задыхавшимся голосом:

— Марьи Ивановны нет... Марья Ивановна умерла... Ах, боже мой!.. Вот когда пришла твоя казнь.

— Голубушка, Марья Ивановна... Мужчи-

ны все обманщики.

— Ах, не то, Таня!.. Он хороший, чистый... Ты у меня останешься ночевать... да... Мне страшно... Я тебе не могу объяснить, что случилось.

От сада до квартиры Марьи Ивановны было всего несколько кварталов, но она успела все передумать и решить. В ее голове мысли неслись вихрем, а роковое слово «отец» стучало, как молот. Да, отец... Она его видела сейчас, как живого, и вздрагивала всем телом. После знакомства в отдельном кабинете, устроенного Астмусом, он бывал у нее на квартире раза три... Привозил букеты, цветы, дорогие безделушки... Это был жизнерадостный, хорошо сохранившийся для своих лет провинциальный старичок. После каждого визита доктора Киндербальзама Марья Ивановна находила на своем ночном столике под коробкой пудры сторублевую ассигнацию. Эти воспоминания жгли сейчас Марью Ивановну, как раскаленное железо, и она слышала голос доктора Киндербальзама:

«Молодые люди ничего не понимают... мальчишки... А доктор Киндербальзам — спе-

циалист по женским болезням, лекарства для которых выписываются по рецептам экспедиции заготовления государственных бумаг в ювелирных магазинах...»

Марья Ивановна чувствовала, как она тонет в той грязи, в которой барахталась целую жизнь... Разве она могла выйти замуж за сына после этой истории с отцом? Довольно, будет... И она, гадкая, отвратительная, смела еще любить!.. И не было такой казни, какую она могла бы себе придумать...

Вечером на другой день Ружищев с нетерпением ожидал ответа от Марьи Ивановны... Таня разыскала его и молча подала длинный конверт. На почтовом листке была написана всего одна фраза Маргариты Готье: «Ответа не будет»...

Марья Ивановна, отправив письмо с Таней, отравилась.